

ГЛАВА 1

КОГДА ОТЕЦ ВПЕРВЫЕ привел Андреа в Голландский дом, Сэнди, наша экономка, зашла в комнату моей сестры и велела нам спускаться.

— Отец хочет вас кое с кем познакомить, — сказала она.

— С кем-то с работы? — спросила Мэйв. Она была старше и обладала более обширным представлением о знакомствах.

Сэнди помедлила с ответом.

— Увидите. Где твой брат?

— На подоконнике, — сказала Мэйв.

Чтобы найти меня, Сэнди пришлось раздвинуть шторы.

— Зачем ты завешиваешься?

Я читал. «Приватность», — ответил я, хотя в свои восемь не очень понимал, что имею в виду. Мне нравилось само слово и ощущение, которое давали задернутые шторы, — будто в коробке сидишь.

Личность гостя была загадкой. Друзей у отца не было — во всяком случае, таких, чтобы можно было привести домой субботним вечером. Я выбрался из своего убежища, вышел к лестнице и улегся на коврик, покрывавший площадку. По опыту я знал, что, если лечь на пол и заглянуть в проем между опорной колонной и верхней балясиной, можно увидеть, что происходит в гостиной. Отец стоял у камина с какой-то женщиной — судя по всему, они рассматривали портреты мистера и миссис Ванхубейк. Я поднялся на ноги и вернулся в комнату сестры, чтобы отчитаться.

— Это женщина, — сказал я Мэйв. Сэнди это и так уже знала.

Сэнди спросила, почистил ли я зубы, очевидно, имея в виду, чистил ли я их утром. Кому придет в голову чистить зубы в четыре часа дня? Джослин по субботам не работала, поэтому Сэнди приходилось со всем управляться самой. Она разжигала камин, встречала посетителей, предлагала им выпить, а тут еще мои зубы. Выходной у Сэнди был в понедельник. По воскресеньям отдыхали они обе, поскольку отец считал, что негоже заставлять людей работать в воскресный день.

— Почистил, — ответил я, потому что скорее всего так оно и было.

— Ну так еще раз почисти, — сказала она. — И причешись.

Последнее относилось к моей сестре: ее черные волосы были длинными и густыми, как связанные вместе десять конских хвостов. Чеси не чеси — толку все равно никакого.

Когда Сэнди сочла, что нам можно показаться на люди, мы с Мэйв спустились вниз и встали под широкой аркой в холле, глядя, как папа и Андреа смотрят на Ванхубейков. Они нас не заметили или не обратили на нас внимания — трудно сказать, — поэтому мы стояли и ждали. Вести себя тихо мы с Мэйв умели — привычка, рожденная в попытках не раздражать отца, хотя, когда он чувствовал, что мы крадемся, это раздражало его лишь сильнее. На нем был синий костюм. Он никогда не носил костюм по субботам. В тот раз я впервые заметил, что волосы у него на затылке начали сесть. Рядом с Андреа он казался еще выше, чем был.

«Какое это, должно быть, утешение, что они всегда рядом», — сказала Андреа о картинах, не о детях. Мистер и миссис Ванхубейк, чьи имена мне были неизвестны, выглядели на портретах старыми, но при этом не то чтобы совсем древними. Оба одеты в черное, позы подчеркнута формальные, из других времен. Несмотря на разделявшие их рамы, они были вместе, они были так безоговорочно *женаты*, что я всегда думал об их портретах как об одной большой картине, которую кто-то разрезал пополам. Андреа запрокинула голову, изучая две пары хитрых глаз, которые, казалось, с неодобрением

сидели за мальчиком, вне зависимости от того, на какой из диванов он решит присесть. Мэйв украдкой ткнула меня пальцем меж ребер, чтобы я взвизгнул, но я сдержался. Нас еще не представили Андреа, которая со спины казалась маленькой и изящной в своем подпоясанном платье и темной шляпке размером с блюдце, приколотой к пряди светлых волос. Будучи воспитанником монахинь, я знал: лучше не смущать гостя смехом. Андреа никак не могла знать, что люди на картинах достались нам вместе с домом, что вообще все в доме досталось нам вместе с домом.

На Ванхубейков в гостиной невозможно было не засмотреться — будто поблекшие полноразмерные копии реальных людей, чьи суровые некрасивые лица выписаны с голландской точностью и чисто голландским пониманием света; на каждом этаже были десятки других портретов, поменьше, — их дети в коридорах, их прашуры в спальнях, множество дорогих им безымянных людей, рассредоточенных повсюду. А еще был портрет десятилетней Мэйв — не такой громоздкий, как картины с голландцами, но ничуть не хуже. Отец ангажировал из Чикаго известного художника, оплатил ему билеты на поезд. Изначально предполагалось, что он напишет портрет мамы, которой, в свою очередь, не сказали, что это займет две недели, — она отказалась позировать, а художник в итоге написал Мэйв. Когда портрет был готов и вставлен в раму, отец повесил его в гостиной напротив Ванхубейков. Мэйв любила повторять, что у них-то она и научилась сверлить людей взглядом.

— Дэнни, — сказал отец, наконец обернувшись, будто ожидал увидеть нас именно там, где мы были. — Поздоровайся с миссис Смит.

Мне всегда будет казаться, что лицо Андреа на мгновение вытянулось, когда она посмотрела на нас с Мэйв. Даже если отец не упоминал о детях, ей наверняка было известно о нашем существовании. Каждый житель Элкинс-Парка был в курсе всего, что происходит в Голландском доме. Возможно, она не думала, что мы спустимся. В конце концов, она рассчитывала на знакомство с домом, а не с детьми. А может быть, Андреа так

отреагировала на Мэйв, которая в свои пятнадцать даже в теннисных туфлях была выше, чем Андреа на каблуках. Мэйв начала сутулиться, когда стало ясно, что она перегонит в росте всех своих одноклассниц и большинство одноклассников, и отец неустанно следил за ее осанкой. Можно было подумать, что Спинувыпрями — ее второе имя. Годами он хлопал ее между лопаток тыльной стороной ладони всякий раз, когда проходил мимо, и, хотя это было непреднамеренное последствие, Мэйв теперь держалась как солдат при дворе королевы, а то и как сама королева. Даже мне было очевидно, как угрожающе она могла выглядеть: высокая, с сияющей гривой черных волос. И этот ее взгляд, когда она смотрит на тебя, скосив глаза книзу, не опуская подбородка. Но я в свои восемь лет был по-прежнему гораздо ниже женщины, на которой впоследствии женится наш отец. Я пожал ее аккуратную руку и представился, затем то же сделала Мэйв. Хотя все запомнят, что Мэйв и Андреа с самого начала были на ножах, это не так. В их первую встречу Мэйв была доброжелательной и учтивой — и оставалась доброжелательной и учтивой, пока это не стало невозможным.

— Как поживаете? — спросила Мэйв, и Андреа ответила:

— Великолепно.

Удивительно точное слово. Иначе и быть не могло. Она годами стремилась попасть сюда: под руку с нашим отцом подняться по широким каменным ступеням, пройти по красной плитке террасы. Андреа была первой женщиной, которую отец привел домой с тех пор, как ушла мама, хотя Мэйв говорила, у него были шашни с нашей няней, молодой ирландкой по имени Фиона.

— Думаешь, он спал с Флаффи? — спросил я. Мы называли ее Флаффи — Пушистиком то есть, — когда были помладше: отчасти из-за того, что мне не удавалось нормально выговорить «Фиона», отчасти из-за облака рыжих волос, мягкими волнами спускавшихся по ее спине. Об этой интрижке, как и большинство других секретов, я узнал много лет спустя, сидя в принадлежащей сестре машине, припаркованной у Голландского дома.

— Если нет, значит, ей приспичило прибраться у него в комнате посреди ночи, — сказала Мэйв.

Папа и Флаффи *in flagrante delicto*¹. Я покачал головой: «Не могу себе представить».

— Ты и *пытаться* не должен. Господи, Дэнни, что за грязь! И потом, ты же практически младенцем был. Удивительно, что ты вообще ее помнишь.

Но я помнил. Когда мне было четыре, Флаффи треснула меня деревянной ложкой. Рядом с левым глазом у меня так и остался почти незаметный шрам в виде маленькой клюшки для гольфа — «пушистая метка», как называла его Мэйв. Флаффи боялась, что готовила яблочное пюре, а я просто испугал ее, внезапно схватив за юбку. Она сказала, что пыталась отогнать меня от плиты и уж точно не собиралась бить, хотя, по-моему, случайно ударить ребенка ложкой по лицу не так-то просто. Эта история представляет интерес лишь потому, что это мое первое отчетливое воспоминание — о конкретном человеке, о Голландском доме, о собственной жизни. Маму я совершенно не помню, зато помню ложку Флаффи, прилетевшую мне в голову. Помню, когда я завопил, Мэйв внеслась в кухню из холла — так олень перемахивает через живую изгородь на заднем дворе. Она набросилась на Флаффи, повалила ее на плиту; заплясали голубые огоньки, кастрюля с кипящим яблочным пюре опрокинулась на пол, и нас всех обдало горячими брызгами. Мэйв перевязали руку, меня отвезли к врачу, он наложил шесть швов; Флаффи уволили — несмотря на все ее причитания, извинения и заверения, что все это нелепая случайность. Она не хотела уходить. По словам сестры, это и были предыдущие отношения нашего отца, а уж она-то наверняка знала, потому что если мне было четыре года, когда я получил этот шрам, то ей, получается, одиннадцать.

К слову, отец Флаффи когда-то работал у Ванхубейков шофером, а мать — кухаркой. Флаффи провела детство в Голландском доме — или в квартирке над гаражом, так что мне остается лишь гадать, куда она направилась, когда ей указали на дверь.

¹ На месте преступления (*лат.*).

Из всех нас только Флаффи лично знала Ванхубейков. Даже отец ни разу их не видел, хотя мы сидели на их стульях, спали в их постелях и ели из их делфтского сервиза. Ванхубейки не были ключевыми героями истории, но в некотором смысле историей был этот дом, когда-то принадлежавший им. Они сделали состояние на оптовой продаже сигарет — успешном бизнесе, в который мистер Ванхубейк вложил незадолго до начала Первой мировой войны. Солдатам на поле боя давали сигареты для поддержания боевого духа, и эта привычка перекочевала с ними домой, ознаменовав десятилетие процветания. Ванхубейки, с каждым часом все богаче, заказали проект дома, который планировали построить на территории тогдашних фермерских угодий Филадельфии.

Ошеломляющий успех дома стоило бы приписать архитектору, но годы спустя, когда я решил изучить вопрос, мне не удалось найти других примеров его работ. Возможно, один из этих суровых Ванхубейков, а то и оба они были в некотором роде визионерами, или сама эта земля вдохновила чудо, какого они себе и представить не могли, или же Америка после Первой мировой войны кишела ремесленниками, работавшими по стандартам, которые сегодня позабыты. Как бы то ни было, дом, который им в итоге достался, — дом, который впоследствии достался нам, — был уникальным сочетанием таланта и удачи. Мне трудно объяснить, почему трехэтажный дом выглядел как нечто занимающее ровно столько места, сколько необходимо, но именно так он и выглядел. Ну или, возможно, лучше сказать, что эта громадина была результатом расточительной и нелепой траты ресурсов, но нам никогда не хотелось ничего здесь изменить. Голландский дом, как его прозвали в Элкинс-Парке, Дженкин-тауне, Гленсайде и даже в Филадельфии, был известен благодаря не столько архитектуре, сколько своим обитателям, всем этим голландцам с непроизносимыми именами. Если вы смотрели на него с определенного расстояния, он, казалось, парил в нескольких дюймах над холмом, на котором стоял. Панели из стекла, окружавшие стеклянные же двери, были размером с витрину магазина и скреплялись коваными железными лозами.

Окна одновременно пропускали солнечный свет и отбрасывали его на широкую лужайку. Может быть, это была неоклассика, хотя в простоте линий было скорее что-то средиземноморское или французское, и, при том что голландским этот дом уж точно не был, голубые делфтские каминные панели в гостиной, библиотеке и главной спальне, по слухам, были тайно вынесены из замка в Утрехте и проданы Ванхубейкам, чтобы покрыть карточные долги принца. Строительные и отделочные работы — вплоть до каминных полок — завершились в 1922 году.

— Они прожили семь славных лет до того, как банкиры начали выбрасываться из окон, — сказала Мэйв, определяя нашим предшественникам место в истории.

Собственно, о том, что эта недвижимость ранее выставлась на продажу, я узнал в тот самый день, когда появилась Андреа. Она прошла за отцом через холл и принялась изучать лужайку перед домом.

— Столько стекла, — сказала она, будто прикидывая, можно ли заменить стекло стенами. — Тебя не смущает, что кто угодно может заглянуть?

Но в Голландский дом можно было не только заглянуть — сквозь него можно было смотреть. Ровно посередине он сужался, обширный холл вел напрямик к месту, которое мы называли обсерваторией, с окнами во всю стену, выходившими на задний двор. Стоя на подъездной аллее, можно было пробежаться взглядом по парадным ступеням, пересечь террасу, заглянуть сквозь парадные двери, проскользнуть по мраморному полу из холла в обсерваторию и увидеть сирень, рассеянно колышущуюся в саду позади дома.

Отец посмотрел на потолок, потом на дверной проем, как будто сам впервые об этом подумал. «От дороги здесь довольно далеко», — сказал он. Тем майским вечером стена лип, тянувшаяся вдоль границы участка, была густо покрыта листвой; склон зеленой лужайки, которую за лето я успевал хорошенько измять своей щенячьей возней, был крутым и широким.

— А когда стемнеет? — в голосе Андреа появилось беспокойство. — Можно же хоть какие-то шторы повесить.

Шторы, перегораживающие вид: не только невероятная, но и самая глупая идея из всех, что я слышал; так мне тогда казалось.

— Вы видели нас ночью? — спросила Мэйв.

— Не забывай, что земля, когда они ее купили, простиралась больше чем на восемьдесят гектаров, — сказал отец, проигнорировав Мэйв. — Территория тянулась до самого Мелроуз-Парка.

— Но почему они вообще все это продали? — Андреа внезапно поняла, как выглядел бы Голландский дом, если бы вокруг не было других построек. Линия обзора должна была проходить далеко за склоном лужайки, за клумбами с пионами и розами. Взгляд мог блуждать по широкой долине, спускаться к лесу, так что, даже если бы Ванхубейки или кто-то из их гостей выглянули ночью из окна бального зала, единственным светом, который они увидели бы, был бы свет звезд. Не было ни улицы, ни района, хотя теперь и улица, и дом Буксбаумов через дорогу прекрасно просматривались зимой, когда с деревьев опадали листья.

— Деньги, — сказала Мэйв.

— Деньги, — кивнул отец. Не так уж это было и сложно. Даже я в мои восемь был способен смекнуть, что к чему.

— Они были не правы, — сказала Андреа и поджала губы. — Подумай, как здесь должно было быть красиво. Я считаю, им стоило проявить побольше уважения. Этот дом — произведение искусства.

Тут уж я расхохотался, потому что понял слова Андреа буквально — мол, Ванхубейки продали землю, не спросив ее. Отец, рассердившись, велел Мэйв отвести меня наверх — можно подумать, я забыл дорогу.

Сигареты фабричного производства, рядами уложенные в картонные коробки, были роскошью, предназначенной для богатых, как и гектары, по которым никогда не гуляли люди, ими владевшие. Землю отстригали от дома по клочку. Упадок поместья стал достоянием общественности, история была зафиксирована в свидетельствах о собственности. Участки продавались в уплату долгов — сперва десять гектаров, потом

пятьдесят, потом еще двадцать восемь. Элкинс-Парк подбирался все ближе и ближе к входной двери. Таким образом семья Ванхубейк выжила в депрессию — и все ради того, чтобы в 1940-м мистер Ванхубейк скончался от пневмонии. Младший сын умер в детстве, а двое старших погибли на войне. Миссис Ванхубейк скончалась в 1945 году, когда не осталось ничего, что можно было бы продать, кроме заднего дворика. Дом и все, что в нем находилось, вернулись в банк; прах к праху.

Флаффи оставили по инициативе пенсильванского филиала Ссудосберегательной ассоциации — ей назначили небольшое жалование, чтобы она ухаживала за участком. Ее родители то ли умерли, то ли нашли другую работу. Как бы то ни было, она жила над гаражом одна и каждый день проверяла состояние дома, чтобы убедиться, что крыша не протекает и нигде не прорвало трубу. С помощью газонокосилки она выстригла дорожку от гаража к парадным дверям, а остальной газон запустила. Она собирала фрукты с деревьев, оставшихся позади дома, делала яблочное повидло и консервировала персики на зиму. К тому времени, как наш отец купил это место в 1946 году, еноты захватили бальный зал и сгрызли проводку. Флаффи заходила в дом лишь тогда, когда солнце стояло прямо над головой, в тот самый час, когда все ночные звери крепко спали, сбившись в кучу. Чудо, что все это просто не сгорело дотла. Енотов в конце концов отловили и ликвидировали, но от них остались блохи, пробравшиеся во все щели. Мэйв рассказывала, что ее первые воспоминания о жизни в доме связаны с зудом и тем, как Флаффи прижигала каждый укус ватной палочкой, смоченной в каламиновом лосьоне. Наши родители наняли Флаффи приглядывать за Мэйв.

* * *

Когда мы с Мэйв впервые припарковались на Ванхубейк-стрит (*Ван-ху-бейк* жители Элкинс-Парка неизменно произносили как *Ван-хо-бик*), я как раз приехал на свои первые весенние каникулы из Чоута. От весны, впрочем, было одно название: на

земле лежал толстый слой снега — первоапрельская шутка суровой зимы. За половину семестра, проведенную в школе-интернате, я усвоил, что настоящая весна — это когда родители берут тебя с собой в круиз на Бермуды.

— Ты чего? — спросил я Мэйв, когда она остановилась перед домом Буксбаумов, через дорогу от Голландского дома.

— Хочу кое-что посмотреть. — Мэйв нагнулась и вдавила кнопку прикуривателя.

— Нечего тут смотреть, — сказал я. — Поехали отсюда.

Настроение у меня было хуже некуда — из-за погоды, из-за несоответствия, как мне казалось, того, что я имел, тому, что я заслуживал, и все равно здорово было вернуться в Элкинс-Парк, оказаться рядом с сестрой, в ее машине — старом синем олдсмобиле нашего детства, который отец отдал ей, когда она сняла квартиру. Поскольку мне было пятнадцать и в целом я был идиотом, мне казалось, что охватившее меня чувство дома связано с этой машиной и тем, где она припаркована, а не с сестрой, хотя благодарить стоило именно — и только — ее.

— Куда-то торопишься? — Она вытряхнула из пачки сигарету и положила руку на прикуриватель. Если вовремя его не поймать, он выскочит и прожжет дыру в сиденье, или в коврике, или в чьей-нибудь ноге — в зависимости от того, где приземлится.

— Ты приезжаешь сюда, пока я в интернате?

Щелк. Поймала, прикурила.

— Нет.

— И все же мы здесь, — сказал я. Снег падал обильно и мягко, остатки дневного света терялись за облаками. В душе Мэйв была исландским дальнобойщиком — никакая погода ей не по меха, — но я был только с поезда, я устал и замерз. Мне хотелось горячих бутербродов с сыром и полежать в ванне. В Чоуте о ванне было лучше не заикаться, а то засмеют, хотя я никогда этого не понимал. Видимо, настоящие мужики принимают душ.

Мэйв набрала полные легкие дыма, выдохнула и заглушила мотор.

— Пару раз думала доехать сюда, но без тебя не стала.

Улыбнулась и опустила стекло — ровно настолько, чтобы салон пронизало арктическим холодом. Перед тем как уехать в школу, я вечно донимал ее, чтобы она бросила курить, а потом не удосужился сказать, что сам начал. В Чоуте сигареты были вместо ванны.

Я вытянул шею, посмотрел на подъездную дорожку.

— Видишь их?

Мэйв выглянула из окна с водительской стороны.

— Почему-то не могу перестать думать о том, как она в первый раз сюда заявила. Ты-то помнишь?

Еще бы я не помнил. Разве можно забыть пришествие Андреа?

— Она еще несла какую-то ересь — мол, люди же смотрят, ночью с улицы все видно.

Едва Мэйв это произнесла, как холл заполнил теплый золотистый свет люстры. Через некоторое время зажглись огни над лестницей, еще немного погода — в хозяйской спальне на втором этаже. Включение подсветки Голландского дома до такой степени совпало со словами Мэйв, что у меня чуть сердце не остановилось. Ну конечно, она приезжала сюда без меня. Она знала, что Андреа включала свет в ту самую минуту, когда заходило солнце. Отрицать это было чуточку театрально со стороны моей сестры, но я оценил ее усилия, когда позже их осознал. Зрелище было охренительное.

— Посмотри, — прошептал я.

Липы стояли голые, тихо падал снег. Конечно, все было видно, все просматривалось — не с идеальной четкостью, но память дорисовывала картинку: прямо под люстрой стоял круглый стол, где по вечерам Сэнди оставляла отцовскую почту, чуть поодаль — напольные часы, которые я должен был заводить каждое воскресенье после мессы, чтобы кораблик под цифрой 6 продолжал тихонько покачиваться между двумя рядами синих волн. Ни кораблика, ни волн я не видел; я знал о них. У стены стоял приставной столик в форме полумесяца, а еще кобальтовая ваза с изображением девочки с собакой, два французских кресла, на которые никто никогда не садился,

и огромное зеркало — его рама всегда напоминала мне изогнутые щупальца золотого осьминога. Андреа прошла через холл, будто ей подали реплику на выход. Лицо мы разглядеть не могли, но я узнал походку. Норма вихрем слетела по ступенькам и резко замерла в самом низу, потому что мать велела ей не бегать. Она подросла, хотя, возможно, это была не Норма, а Брайт.

— Наверняка она подглядывала за нами, — сказала Мэйв. — Еще до того, как пришла сюда в первый раз.

— Ну или вообще все на нас смотрели, каждый, кто проезжал по улице зимой. — Я потянулся к сумочке Мэйв, вытащил сигареты.

— Звучит слегка тщеславно, — сказала она. — *Вообще* все.

— Нас этому в Чоуте учат.

Она рассмеялась, очевидно, сама того не ожидая, чем ужасно меня порадовала.

— Целых пять дней дома вместе с тобой, — сказала она, выдувая дым в открытое окно. — Лучшие пять дней в году.